



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Я родилась в 1744 г.¹ в Петербурге. Императрица Елизавета уже вернулась к тому времени из Москвы, где она венчалась на царство. Она держала меня у купели, а моим крестным отцом был великий князь, впоследствии император Петр III². Оказанной мне императрицей честью я была обязана не столько ее родству с моим дядей³, канцлером, женатым на двоюродной сестре государыни, сколько ее дружбе с моей матерью⁴, которая с величайшей готовностью, деликатностью, скажу даже — великодушием снабжала императрицу деньгами в бытность ее великой княгиней, в царствование императрицы Анны⁵, когда она была очень стеснена в средствах и нуждалась в деньгах на содержание дома и на наряды, которые очень любила.

Я имела несчастье потерять мать на втором году жизни и только впоследствии узнала от ее друзей и людей, хорошо знавших ее и вспоминавших о ней с восхищением и благодарностью, насколько она была добродетельна, чувствительна и великодушна. Когда меня постигло это несчастье, я находилась у своей бабушки с материнской стороны, в одном из ее богатых имений, и оставалась у нее до четырехлетнего возраста, когда ее с трудом удалось убедить привезти

меня в Петербург с целью дать мне надлежащее воспитание, а не то, какое я могла получить из рук добродушной старушки-бабушки. Спустя несколько месяцев канцлер, старший брат моего отца, вовсе изъял меня из теплых объятий моей доброй бабушки и стал воспитывать меня со своей единственной дочерью, впоследствии графиней Строгановой. Общая комната, одни и те же учителя, даже платья из одного и того же куска материи — все должно было бы сделать из нас два совершенно одинаковых существа; между тем трудно было найти людей более различных во всех обстоятельствах жизни (обращаю на это внимание тех людей, которые мнят себя сведущими в воспитании и измышляют собственные теории относительно столь важного предмета, имеющего решающее значение для дальнейшей жизни и для счастья людей и вместе с тем столь мало ими исследованного, может быть, вследствие того, что все его многочисленные разветвления не могут быть восприняты во всем своем объеме одним умом).

Не буду говорить о моей фамилии; ее старинное происхождение и выдающиеся заслуги моих предков так прославили имя графов Воронцовых⁶, что им могли бы гордиться даже люди, гораздо более меня придающие значение знатности рода.

Мой отец, граф Роман⁷, младший брат канцлера, был молод, любил жизнь, вследствие чего мало занимался нами, своими детьми, и был очень рад, когда мой дядя, из дружбы к нему и из чувства благодарности к моей покойной матери, взялся за мое воспитание. Мои две старшие сестры⁸ находились под покровительством императрицы и, будучи еще в детском возрасте названы фрейлинами, жили при дворе. В родительском доме оставался только мой старший брат, Александр⁹, и я лишь его одного знала с детства; мы с ним часто

виделись, и между нами с раннего возраста возникла привязанность, которая с годами превратилась в неослабное взаимное доверие и верную дружбу. Мой младший брат¹⁰ жил у дедушки в деревне, и по возвращении его в город я его редко видела, так же как и моих сестер. Я останавливаюсь на этом, потому что эти обстоятельства оказали влияние на мой характер.

Мой дядя не жалел денег на учителей, и мы — по своему времени — получили превосходное образование: мы говорили на четырех языках, и в особенности владели отлично французским; хорошо танцевали, умели рисовать; некий статский советник преподавал нам итальянский язык, а когда мы изъявили желание брать уроки русского языка, с нами занимался Бехтеев; у нас были изысканные и любезные манеры, и потому немудрено было, что мы слыли за отлично воспитанных девиц. Но что же было сделано для развития нашего ума и сердца? Ровно ничего. Дядя был слишком занят, и у него не хватало на это времени, а у тетки не было к тому ни способностей, ни призвания: ее характер представлял из себя странное сочетание гордости с необыкновенной чувствительностью и мягкостью сердца.

Только благодаря случайности — кори, которою я заболела, — мое воспитание было закончено надлежащим образом и сделало из меня ту женщину, которою я стала впоследствии. С раннего детства я жаждала любви окружающих меня людей и хотела заинтересовать собой моих близких, но когда, в возрасте тринадцати лет, мне стало казаться, что мечта моя не осуществляется, мною овладело чувство одиночества. К тому времени был издан указ, в силу которого воспрещались всякие сношения с двором тем семействам, в среде которых появлялись прилипчивые болезни, вроде оспы, кори и т. п., из опасения, чтобы великий

князь Павел, впоследствии император Павел I¹¹, ими не заразился. При первых же признаках кори меня отправили в деревню, за семнадцать верст от Петербурга. Кроме моих горничных меня сопровождали одна немка и жена одного майора; но я их не любила, и общение с ними не удовлетворяло моего чувствительного и любящего сердца и тех понятий о счастье, которые я соединяла с присутствием родных и нежных друзей. Болезнь моя пала главным образом на глаза и лишила меня возможности заниматься чтением, к которому я пристрастилась.

Глубокая меланхолия, размышления над собой и над близкими мне людьми изменили мой живой, веселый и даже насмешливый ум. Я стала прилежной, серьезной, говорила мало, всегда обдуманно. Когда мои глаза выздоровели, я отдалась чтению. Любимыми моими авторами были Бейль¹², Монтескье¹³, Вольтер¹⁴ и Буало¹⁵. Я начала сознавать, что одиночество не всегда бывает тягостно, и силилась приобрести все преимущества, даруемые мужеством, твердостью и душевным спокойствием. Мой брат Александр уехал в Париж еще до моего возвращения в город. С его отъездом я лишилась человека, который своею нежностью мог бы залечить раны, нанесенные моему сердцу окружавшим меня равнодушием. Я была довольна и покойна, только когда погружалась в чтение или занималась музыкой, развлекавшей и умилявшей меня; когда же я выходила из своей комнаты, я всегда грустила; иногда я просиживала за чтением целые ночи напролет, что в связи с моим настроением придавало мне болезненный вид, обеспокоивший не только моего почтенного дядюшку, но и императрицу Елизавету. По ее приказанию меня стал лечить ее лейб-медик Бургав¹⁶. Внимательно осмотрев меня, он объявил, что физическое мое состояние не оставляет

желать ничего лучшего, а что болезненные явления, встревожившие моих друзей, вызваны какой-нибудь сердечной заботой, вследствие чего меня стали осаждать вопросами, не коренившимися, однако, в любви или действительной заботе обо мне. Потому-то я и не дала на них искреннего ответа, тем более что мне пришлось бы признаться в своей гордости, уязвленном самолюбии и раскрыть принятое мною самонадеянное решение собственными силами добиться всего, что было мне доступно, — может быть, то, что я сказала бы, было бы принято за упрек. И я решила не открывать поглощавшей меня тайны и объявила, что мой болезненный вид происходит исключительно от головных болей и расстроенных нервов. Тем временем ум мой зрел и укреплялся. На следующий год, перечитывая книгу «О разуме» Гельвеция¹⁷, я пришла к заключению, что если бы не было второго тома этой книги, более приспособленного к пониманию большинства людей, и если бы ее теория не была приноровлена к состоянию вещей и человеческого ума, свойственному массам, то она могла бы нарушить гармонию и порвать цепь, связующую все столь разнородные части, составляющие государственность. Я потому останавливаюсь на этих мыслях, что они доставили мне впоследствии немало истинных наслаждений.

Шувалов¹⁸, фаворит императрицы Елизаветы, желая прослыть меценатом, выписывал из Франции все вновь появлявшиеся книги. Он оказывал особенное внимание иностранцам; от них он узнал о моей любви к чтению; ему были переданы и некоторые высказанные мною мысли и замечания, которые ему так понравились, что он предложил снабжать меня всеми литературными новинками. Я особенно оценила его любезность на следующий год, когда я вышла замуж

и мы переехали в Москву, где в книжных лавках можно было найти только старые, известные сочинения, к тому же уже входившие в состав моей библиотеки, заключавшей в себе к тому времени девятьсот томов. В этом году я купила Энциклопедию¹⁹ и словарь Морери²⁰. Никогда драгоценное ожерелье не доставляло мне больше наслаждения, чем эти книги; все мои карманные деньги уходили на покупку книг. Иностранцы, артисты, литераторы и министры всевозможных иностранных дворов, находившиеся в Петербурге и посещавшие постоянно моего дядю, должны были платить дань моей безжалостной любознательности. Я расспрашивала их об их странах, законах, образах правления; я сравнивала их страны с моей родиной, и во мне пробудилось горячее желание путешествовать; но я думала, что у меня никогда не хватит на это мужества, и полагала, что моя чувствительность и раздражительность моих нервов не вынесут бремени болезненных ощущений, уязвленного самолюбия и глубокой печали любящего свою родину сердца. Я думала, что достигла уже всего, и если бы кто-нибудь мог бы тогда предсказать мне страдания, ожидавшие меня, я бы положила конец своему существованию: у меня уже появлялось предчувствие, предсказывавшее мне, что я буду несчастна. Нежность, которую я питала к брату моему, графу Александру, побуждала меня писать ему часто и аккуратно. Я писала ему два раза в месяц и сообщала ему городские, дворцовые и военные новости. Этой переписке я обязана сжатым и образным слогом. Мне хотелось заинтересовать его и сделать ему удовольствие, и худо ли, хорошо ли я пишу, своим слогом я обязана этим дневникам, которые я писала для горячо любимого брата.

В ту же зиму великий князь, впоследствии император Петр III, и великая княгиня, справедливо назван-

ная Екатериной Великой²¹, приехали к нам провести вечер и поужинать. Иностранцы обрисовали меня ей с большим пристрастием; она была убеждена, что я все свое время посвящаю чтению и занятиям, что и привлекло мне ее уважение, оказавшее столь большое влияние на всю мою жизнь и вознесшее меня на такой пьедестал, о котором я никогда не смела и мечтать. Я смело могу утверждать, что, кроме меня и великой княгини, в то время не было женщин, занимавшихся серьезным чтением. Мы почувствовали взаимное влечение друг к другу, а очарование, исходившее от нее, в особенности когда она хотела привлечь к себе кого-нибудь, было слишком могущественно, чтобы подросток, которому не было и пятнадцати лет, мог ему противиться, и я навсегда отдала ей свое сердце; однако она имела в нем сильного соперника в лице князя Дашкова²², с которым я была обручена; но вскоре и он проникся моим образом мыслей, и между ними исчезло всякое соперничество. Великая княгиня осыпала меня своими милостями и пленила меня своим разговором. Возвышенность ее мыслей, знания, которыми она обладала, запечатлели ее образ в моем сердце и в моем уме, снабдившем ее всеми атрибутами, присущими богато одаренным природой натурам. Этот длинный вечер, в течение которого она говорила почти исключительно со мной одной, промелькнул для меня как одна минута. Он и стал первоначальной причиной многих событий, о которых речь будет ниже.

Однако мне надо в своем повествовании вернуться к июлю и августу месяцу, предшествовавшему этому вечеру. Мой дядя, его жена и дочь жили с императрицей в Петергофе и в Царском Селе; легкое нездоровье и любовь к чтению и покойной жизни задержали меня в городе; я изредка ездила в итальянскую оперу и бывала только в двух домах: у княгини Голицыной,

которая очень любила меня, так же как и ее муж, шестидесятипятилетний старик, человек очень интересный, и у госпожи Самариной, муж которой принадлежал к числу приближенных моего дяди и бывал у нас положительно каждый день. Госпожа Самарина была как-то больна, и я пошла провести с нею вечер и поужинать у нее, вследствие чего я отправила свою карету, приказав кучеру приехать за мной к одиннадцати часам вместе с моей горничной. Вечер был чудесный, и сестра госпожи Самариной предложила мне отправить мою карету вперед и пройти с ней пешком до конца малолюдной улицы. Я согласилась, тем более что мне необходим был моцион. Не успели мы пройти и нескольких шагов, как из боковой улицы вышел нам навстречу человек, показавшийся мне великаном. Меня это поразило, и, когда он был в двух шагах от нас, я спросила свою спутницу, кто это такой. Она назвала князя Дашкова. Я его никогда еще не видала. Будучи знаком с Самариными, он вступил с ней в разговор и пошел рядом с нами, изредка обращаясь ко мне с какой-то застенчивой учтивостью, чрезвычайно понравившейся мне. Впоследствии я не прочь была приписывать эту встречу и благоприятное впечатление, которое мы произвели друг на друга, особому соизволению промысла божия, которого мы не могли избежать; так как если бы я слышала когда-нибудь его имя в доме моего дяди, куда он не имел доступа, мне пришлось бы одновременно услышать и неблагоприятные для него отзывы и узнать подробности одной интриги, которая разрушила бы всякие помыслы о браке с ним. Я не знала, что он слышал и что ему было известно обо мне до этой встречи; но, несомненно, его связь с очень близкой моей родственницей, которую я не могу назвать, и его виновность перед ней должны были отнять у него всякую мысль, всякое же-

лание и всякую надежду на соединение со мной. Словом, мы не были знакомы друг с другом, и, казалось, брак между нами не мог бы никогда состояться; но небо решило иначе. Не было той силы, которая могла бы помешать нам отдать друг другу наши сердца, и наша семья не поставила никаких препятствий нашему браку, а его мать, очень желавшая женить сына и тщетно и непрестанно умолявшая его выбрать жену, была вне себя от радости, когда узнала о принятом им решении вступить в брак. Хотя он и отверг невесту, намеченную ею для него, она осталась довольна его выбором и тем, что он породнится с нашей семьей. Как только князь убедился, что может найти счастье только в браке со мной, он, заручившись от меня согласием поговорить об этом с моими родителями, попросил князя Голицына просить руки у моего отца и дяди в первый же раз, как он будет в Петергофе, и просить их держать это обстоятельство в тайне до возвращения его из Москвы, куда он отправился, чтобы испросить разрешение и благословение своей матери на наш брак.

До отъезда князя ее величество приехала однажды в итальянскую оперу в свою закрытую ложу, находившуюся рядом с нашей. Ее сопровождали только мой дядя и Шувалов, и, так как она намеревалась ужинать после оперы у моего дяди, я осталась дома, чтобы принять ее; князь был со мной. Императрица отнеслась с большой добротой ко мне и к моему жениху и, как настоящая крестная мать, вызвав нас в соседнюю комнату, объявила, что знает нашу тайну, похвалила сыновнее почтение и повиновение князя своей матери, пожелала нам счастья, уверяя нас, что будет всегда принимать участие в нашей судьбе, и в заключение сказала князю, что велит Бутурлину дать ему шестимесячный отпуск для его путешествия. Доброта

и очаровательная нежность, которыми ее величество нас осчастливила, до того умилили меня, что мое волнение стало очевидным и своей интенсивностью не могло не отозваться вредно на мне. Императрица ласково потрепала меня по плечу и сказала:

— Успокойтесь, дитя мое; а то, пожалуй, подумают, что я вас бранила.

Я никогда не забывала этой сцены, еще сильнее привязавшей меня к государыне, обнаружившей такое доброе сердце.

По возвращении своем из Москвы князь представился всей моей семье, но свадьба наша была отложена до февраля вследствие тяжелой и опасной болезни моей тетки, жены канцлера; но и к этому сроку моя тетка еще лежала в постели вследствие рецидива; поэтому наша свадьба была отпразднована без малейшего блеска, и нам удалось уехать в Москву только в начале мая, когда здоровье моей тетки не внушало уже никаких опасений. Передо мной открылся новый мир, новая жизнь, которая меня пугала тем более, что она ничем не походила на все то, к чему я привыкла. Меня смущало и то обстоятельство, что я довольно плохо изъяснялась по-русски, а моя свекровь не знала ни одного иностранного языка. Ее родня состояла все из стариков и старушек, которые относились ко мне очень снисходительно, вследствие того что мой муж был их общим любимцем и все они сильно желали, чтобы он женился, так как он был последний князь Дашков; но я все-таки чувствовала, что они желали бы видеть во мне москвичку и считали меня почти чужестранкой. Я решила заняться русским языком и вскоре сделала большие успехи, вызвавшие единодушное одобрение со стороны моих почтенных родных, в отношении которых я проявила до конца их жизни нежную и почтительную заботливость, завоевавшую их

искреннюю дружбу, не ослабевшую даже после смерти моего мужа, когда всякая другая женщина двадцати лет могла бы считать соединявшие нас родственные узы расторгнутыми.

На следующий год, 21 февраля, я родила дочь²³; в мае месяце мы уехали со свекровью в Троицкое. В обществе моего клавесина и моей библиотеки время для меня быстро летит. В июле месяце мы с мужем посетили его орловские поместья. Я была снова беременна, но доброй князь окружил меня таким заботливым попечением, что это путешествие не принесло мне никакого вреда. Когда мы вернулись в Москву, отпуск моего мужа приходил к концу, и мы написали моему отцу, чтобы он испросил нам разрешение его продлить. Императрица Елизавета была слаба и часто болела, и ее приближенные стали ухаживать за наследником; кажется, это и доставило великому князю более прямое командование лейб-гвардии Преображенским полком, в котором он числился подполковником; мой муж был штабс-капитаном в том же полку, так что пришлось спрашивать у великого князя продление отпуска еще на пять месяцев, дабы я могла оправиться после родов. Великий князь, может быть думая сделать любезность, объявил, что не разрешит отпуска, если князь не приедет на две недели в Петербург. Мой отец настаивал на том, чтобы мой муж приехал, уверяя его, что великий князь настроен очень дружественно. Я была безутешна, и мысль о разлуке с мужем меня так печалила, что я не могла даже наслаждаться его присутствием, пока он был еще со мной, и с грустью думала о горестной разлуке и печальном прощании. Такое состояние духа отразилось на моем здоровье, и когда, наконец, мой муж уехал 8 января, я была так огорчена, что у меня сделался жар, который скорее гнезвился в моих не-

рвах и моем мозгу, чем в крови; кажется, благодаря тому, что я упорно отказывалась принимать лекарства, предписанные мне докторами, через несколько дней у меня все прошло. Я много плакала и этим облегчила свое стесненное сердце и натянутые нервы и благодаря наступившей большой слабости и нежным попечениям моей младшей золовки я отложила в сторону свое перо, которым собиралась писать день и ночь своему мужу. Не надо забывать, что мне было всего семнадцать лет и что я страстно любила своего мужа. Их императорские высочества были очень милостивы к нему и приглашали его принимать участие в катанье на санях в Ораниенбауме, благодаря которому он простудился и схватил ангину. Но, зная, что его мать и жена будут сильно беспокоиться, если он не придет в назначенный день, он выехал из Петербурга с больным горлом. Во время путешествия он выходил из экипажа только для того, чтобы смочить горло чаем. Подъезжая к московской заставе, он почувствовал, что потерял голос и не может выговорить ни слова; зная, что его появление в таком виде среди нас могло бы повлечь за собой тяжелые последствия, так как его мать и жена теряли голову при малейшем его нездоровье, он знаком объяснил своему лакею, что он желает сперва поехать к своей тетке Новосильцевой, чтобы прополоскать горло, дабы иметь возможность сказать хоть несколько слов, приехав к нам; но моя тетка, видя его совершенно больным, заставила его лечь в постель и послала за доктором. Чтобы не возбуждать наших подозрений, решили задержать почтовых лошадей, чтобы на следующий день приехать к нам, как бы прямо из Петербурга; доктор нашел, что князь начинает потеть, и велел ему оставаться в постели до утра. Это было 1 февраля, и хотя мороз не был велик, но безопаснее было не подвергать больного риску но-

вой простуды. Однако то, что произошло у нас после приезда князя, могло бы иметь роковые последствия. Моя горничная, которая была моих лет и очень легкомысленна, знала, что у меня начались уже родовые боли; моя свекровь и ее сестра княгиня Гагарина, присутствовавшая при первых моих родах, уже несколько часов находились в моей комнате вместе с акушеркой. Несмотря на это, воспользовавшись тем, что я вышла на минуту в другую комнату, она объявила мне, что муж мой приехал. Я испустила крик, который, к счастью, не был услышан моей свекровью, бывшей в соседней комнате. Горничная стала умолять меня держать это в тайне, так как князь запретил объявлять нам о своем прибытии, так как, приехав в Москву, он остановился у своей тетки. Надо себе представить семнадцатилетнюю безумно влюбленную женщину, с горячей головой, которая не понимала другого счастья, как любить и быть любимой, и на богатства и знатность смотрела как на ненужное и тяжелое бремя, отягчавшее ее счастье и спокойствие, чтобы вообразить, какое действие произвели на меня необдуманные слова моей горничной. Я собралась с силами и с самым спокойным видом вернулась к княгине-матери и объявила, что болей у меня нет и что я приняла желудочные колики за родовые схватки и что, по всей вероятности, роды будут продолжаться не менее двадцати часов, как и в первый раз; вследствие чего я и попросила их удалиться к себе, обещая, что, когда настанут настоящие боли, я позволю себе беспокоить их и пригласить к себе. Когда они ушли, я спросила акушерку, не желает ли она за мной следовать. Она вытаращила глаза и, сомневаясь в моем здравом рассудке, объяснила на своем силезском наречии, что она не намерена поощрять безумного поступка, не желая отвечать перед богом за смерть невинного ребенка,

так как она уверена, что я рожу через несколько часов. В отчаянии от ее отказа, я с волнением рассказала ей, что хочу пойти в соседнюю улицу навестить мужа, который, должно быть, болен или ранен, потому что не приехал прямо домой, и что в случае ее отказа я пойду одна, причем прибавила, что придется идти пешком.

— Господи, — воскликнула она, — это еще хуже!

— Ничего не поделаешь, — ответила я, — окна спальни моей свекрови выходят во двор, и она услышала бы шум, если бы я велела заложить сани, испугалась бы до смерти и, кроме того, не выпустила бы меня.

Наконец акушерка сжалилась надо мной, и я вышла, поддерживаемая ею и стариком лакеем, всегда читавшим вслух моей свекрови молитвы. Не успела я сойти две или три ступеньки, как боли возобновились; тогда акушерка хотела заставить меня снова подняться в свою комнату, но я вытянула ноги и, наваливаясь на нее всей тяжестью своего тела, старалась спуститься вниз. Наконец мы с остановками сошли с лестницы и вышли на улицу; по дороге к дому нашей тетки схватки возобновлялись пять раз.

Не понимаю, как я могла подняться по лестнице ее дома; очевидно, господу богу было угодно, чтобы я вынесла эту муку.

Войдя в комнату, где находился мой муж, и увидев его смертельную бледность, я упала в обморок; меня без сознания вынесли из дома, уложили в сани, на которые положили матрац, привезли к нашему дому и бесшумно вынесли меня из саней, чтобы моя свекровь ничего не слыхала. Акушерка, мой добрый старик и трое лакеев снесли меня в спальню, где я пришла в сознание вследствие жестоких схваток. Я послала за свекровью, которая приказала себя разбудить в случае надобности. Было одиннадцать часов вечера, когда

княгиня-мать и ее сестра пришли ко мне. Не прошло и часу, как я родила сына Михаила²⁴. Когда моя свекровь на минуту отошла от меня, я велела своей горничной послать старика к мужу, чтобы возвестить ему, что я благополучно разрешилась от бремени сыном. Впоследствии муж приводил меня в ужас своим рассказом о моем появлении у его постели в сопровождении акушерки и старика и о моем обмороке. Будучи уверен, что никто у нас в доме не знает о его прибытии, он сильно рассердился, увидав, что тайна не была соблюдена; узнав, что роды уже начались, он пришел в ужас и хотел выскочить из постели; моя тетка бегала по комнате, ломая себе руки, и только когда она ему сказала, что его мать спит и не знает о происшедшем, ей удалось уговорить его лечь опять в постель; когда же пришел старик, он снова бросился вон из постели, но вскоре его отчаяние сменилось безумной радостью: он целовал старика лакея, одарил его деньгами и, отказавшись лечь в постель, велел немедленно же позвать священника и отслужить благодарственный молебен, так что, благодаря моей выходке, моя тетка и весь ее дом были всю ночь на ногах.

В шесть часов утра, когда его мать обыкновенно ездил к ранней обедне, он велел заложить почтовых лошадей и приехал домой. Свекровь увидела его карету въезжающей во двор, вышла встретить его на лестницу, но, увидев его бледное лицо и горло, закутанное платками, бросилась вниз, и, если бы мой муж со свойственной ему ловкостью и силой не успел подхватить ее вовремя, произошла бы еще одна трагическая сцена. Словом, чрезмерная любовь к нему его жены и матери немало измучили его за эти два дня. Он понес свою мать не в ее комнату, а на нашу половину, и таким образом он мог сразу пройти ко мне. Наша радость, удвоенная пережитыми страхами, под-

крепила наши силы; княгиня-мать, желая сохранить приличия*, велела поставить кровать моего мужа в его уборную, смежную с моей спальней, и мы с мужем испытывали муки Тантала²⁵: не могли ни видеть друг друга, ни разговаривать. Я чувствовала, что мужу моему было удобнее в отдельной комнате; сама же я была слишком слаба, чтобы встать и пойти к нему украдкой, так что мне оставалось только плакать. Но вскоре мы придумали средство сообщаться. Свекровь приставила ко мне старушку горничную, которая сидела со мной по ночам; она служила нам Меркурием; как только свекровь уходила спать, мы писали друг другу самые нежные записки, старушка носила их; ночью, когда мой муж спал, я писала ему еще с тем, чтобы он утром, просыпаясь, мог получить письмо от меня из рук нашего услужливого Меркурия. Это занятие, внушенное безграничной нежностью, холодным рассудительным людям, которых я, в свою очередь, назову бессердечными, пожалуй, покажется ребячеством, — а у меня от постоянных слез и писания по вечерам стали болеть глаза. Теперь, когда прошло уже сорок печальных лет с тех пор, что я потеряла обожаемого мужа, я радуюсь тому, что поддалась этому ребяческому влечению. Мой Меркурий, очевидно опасаясь за мои глаза, на третий день выдал меня свекрови, которая побранила меня и даже погрозила, но уже значительно смягчившись, отнять у меня перо и бумагу. К счастью для нас всех, нарыв в горле князя лопнул, лихорадка спала, и он мог сидеть возле меня. Мое выздоровление затянулось, но, когда мне удалось набраться хоть немного сил, мои семнадцать лет быстро восстановили мое здоровье.

* Согласно установившемуся обычаю, родные и друзья приносили поздравления роженице. (Примечания в тексте, кроме иноязычных слов и особо оговоренных случаев, принадлежат Е. Р. Дашковой.)

Мы не поехали в деревню, так как должны были отправиться в Петербург; я была рада повидаться с родными и очутиться в прежней обстановке, с детства мне знакомой и столь различной от склада московской жизни, когда я часто становилась в тупик перед некоторыми странными обычаями, с которыми мне приходилось сталкиваться во многих домах; все так отличалось от того, как делалось в доме моего дяди — а дом моего дяди представлял из себя действительно княжеский дворец в самом изысканном европейском вкусе, — что часто я была в большом затруднении.

Мы должны были выехать 10 июня, но различные дела и просьбы моей свекрови задержали нас, так что мы приехали в Петербург только 28 июня. Этот же день, год спустя, был самым славным и достопамятным днем для моей родины. И в этот раз он мне показался сладостным и счастливым; я с любопытством смотрела в окно; Петербург мне показался великолепным, и я надеялась встретить на улице кого-нибудь из родных; когда мы приехали в дом, снятый моим мужем, я была как в лихорадке. Водворив мою дочь в соседней со мной комнате, я отправилась к отцу и к дяде, но ни того ни другого не застала дома.

На следующий день отец объявил мне, что по приказанию императрицы все офицеры Преображенского полка с женами, которые получили приглашение от их императорских высочеств, должны были ехать в Ораниенбаум. Мы с мужем были в их числе. Мне неприятно было подвергаться стеснениям придворной жизни и не хотелось расставаться с дочерью. Тогда мой отец предложил нам поселиться в его доме, находившемся на полпути между Петергофом и Ораниенбаумом, и я успокоилась. Вскоре мы переселились на новую квартиру и на следующий же день поехали ко двору их высочеств.

Великий князь сказал мне: «Если вы не хотите здесь жить, вы должны приезжать каждый день, и я желаю, чтобы вы были больше со мной, чем с великой княгиней». Я ничего не ответила и решила под всевозможными предлогами не ездить каждый день в Ораниенбаум, а при своих посещениях пользоваться, насколько возможно, обществом великой княгини, которая оказывала мне такое внимание, каким она не удостоивала ни одну из дам, живших в Ораниенбауме.

Великий князь вскоре заметил дружбу ко мне его супруги и то удовольствие, которое мне доставляло ее общество; однажды он отвел меня в сторону и сказал мне следующую странную фразу, которая обнаруживает простоту его ума и доброе сердце:

— Дочь моя*, помните, что благоразумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умами, которые, выжав весь сок из лимона, выбрасывают его вон**.

Я ответила, что не понимаю смысла его слов, и напомнила ему, что его августейшая тетка, императрица Елизавета, приказала нам посещать и двор ее высочества. Я должна отдать справедливость моей сестре, графине Елизавете, что она не требовала, чтобы я посвящала ей свое время. Она меня ничем не стесняла, а великий князь с того времени вывел заключение, как мне пришлось убедиться, что я просто дурочка. Все-таки мне часто не удавалось уклониться от праздников, которые великий князь задавал в лагерях; его высочество и его генералы сильно курили, но дым нас не беспокоил, так как порывы ветра уносили его из

* Он был моим крестным отцом.

** Я часто вспоминала эти слова впоследствии и благодаря случайности узнала, из какого источника они исходили и кто их подсказал моему крестному отцу.

палатки*. Эти празднества заканчивались обыкновенно балом и ужином в «зеленой» зале, стены которой были убраны еловыми и сосновыми ветвями. В лагере и на праздниках, задаваемых великим князем, говорили преимущественно на немецком языке, а те, кто им не владел, должны были знать по крайней мере имена и общеупотребительные выражения, чтобы не стать предметом насмешек. Когда праздник происходил в имении, принадлежавшем великому князю, где дом был невелик и не вмещал много народу, общество не было так многочисленно; после чаю и пунша играли в кампи²⁶, довольно бессмысленную игру, которую великий князь, однако, очень любил. Как это времяпрепровождение отличалось от тех часов, которые мы проводили у великой княгини, где царили приличие, тонкий вкус и ум! Ее императорское высочество относилась ко мне с возрастающим дружелюбием; зато и мы с мужем с каждым днем все сильнее и сильнее привязывались к этой женщине, столь выдающейся по своему уму, по своим познаниям и по величию и смелости своих мыслей. Ей разрешалось один раз в неделю ездить в Петербург, где жила в то время императрица, на свидание со своим сыном, великим князем Павлом**. В те дни, когда она знала, что я не нахожусь в Ораниенбауме, она на обратном пути из Петергофа останавливалась у нашего дома, приглашала меня в свою карету и увозила к себе; я с ней проводила остаток вечера. В тех случаях, когда она сама не ездила в Ораниенбаум, она меня извещала об этом

* Эти голштинские генералы набирались большею частью из прусских унтер-офицеров или немецких сапожников, покинувших родительские дома. Кажется, никогда в России не бывало генералов менее достойных своего чина, за исключением разве гатчинских генералов Павла I.

** Великий князь проявлял по отношению к сыну полное равнодушие и никогда его не посещал.

письмом, и таким образом между великой княгиней и мной завязалась переписка и установились доверчивые отношения, составлявшие мое счастье, так как я была так привязана к ней, что, за исключением мужа, пожертвовала бы ей решительно всем.

Когда настало время вернуться в город, порядок вещей изменился. Я не видела больше великой княгини, и мы обменивались только довольно частыми записками. Однажды во время большого обеда на семьдесят персон во дворце, на котором присутствовала и великая княгиня, великий князь стал говорить про конногвардейца Челищева, у которого была интрига с графиней Гендриковой, племянницей императрицы Елизаветы. Под влиянием вина и прусской солдатчины он сказал, что для примера следовало бы отрубить Челищеву голову, чтобы другие офицеры не смели ухаживать за фрейлинами и родственницами государыни. Голштинские приспешники не замедлили кивками головы и словами выразить свое одобрение.

— Ваше императорское высочество, — возразила я, — я никогда не слышала, чтобы взаимная любовь влекла за собой такое деспотическое и страшное наказание, как смерть избранника сердца!

— Вы еще ребенок, — ответил великий князь, — и не понимаете, что когда имеешь слабость не наказывать смертью людей, достойных ее, то неминуемо водворяются неповиновение и всевозможные беспорядки.

— Ваше высочество, — продолжала я, — вы говорите о предмете, внушающем всем присутствующим неизъяснимую тревогу, так как, за исключением ваших почтенных генералов, все мы, имеющие честь быть вашими гостями, родились в то время, когда смертная казнь уж не применялась.

— Это-то и скверно, — возразил великий князь, — отсутствие смертной казни вызывает много беспорядков и уничтожает дисциплину и субординацию.

Все молчали кругом, и разговор шел только между нами двумя.

— Повторяю, — добавил он, — что вы еще ребенок и не понимаете подобных вещей.

— Сознаюсь, ваше императорское высочество, что я действительно ничего в этом не понимаю, но я чувствую и знаю, что ваше высочество забыли, что императрица, ваша августейшая тетка, еще жива.

Взоры всех присутствующих устремились на меня. Великий князь в ответ показал мне язык (он делал это и в церкви по адресу священников), чему я была очень рада, так как эта выходка доказывала, что он на меня не сердится, и избавляла меня от дальнейших возражений.

Так как среди приглашенных было много гвардейцев и офицеров, служивших в кадетском корпусе, над которым великий князь имел фиктивную команду, то этот разговор стал вскоре известен всему Петербургу и вызвал всеобщие и преувеличенные похвалы по моему адресу. На следующий день великая княгиня также отзывалась о нем самым лестным для меня образом. Я же не придавала ему никакого значения, так как вследствие моей неопытности и незнания света и придворной жизни я не понимала еще, насколько опасно было исполнять то, что я считала долгом каждого честного человека: всегда говорить правду. Я не знала, что то, что мне простит сам государь, царедворцы его никогда не забудут. Однако этому маленькому обстоятельству, в связи еще с несколькими другими в таком же роде, я обязана тем, что у меня составила репутация искренней и твердой патриотки, и благодаря этому некоторые офицеры не колеблясь облекли меня своим доверием.

Болезнь императрицы Елизаветы усиливалась с каждым днем. Вся моя семья, и в особенности мой дядя, канцлер, была погружена в глубокую печаль, которую я искренне разделяла, так как любила всем сердцем императрицу, мою крестную мать; и кроме того, мое пребывание в Ораниенбауме открыло мои глаза на то, что ожидало мою родину, когда на престол вступит государь ограниченный, необразованный, не любивший свой народ и ставивший себе в заслугу свое подчинение прусскому королю, которого он величал в кругу своих друзей своим «господином».

В половине декабря я заболела и пролежала некоторое время в постели; но, узнав, что государыне остается всего несколько дней жизни, я 20 декабря одела теплые сапоги, закуталась в шубу и, выйдя из кареты в некотором расстоянии от деревянного дворца на Мойке, занимаемого императрицей и императорской фамилией, несмотря на свое недомогание, пошла пешком во дворец и взошла по маленькой лестнице, о существовании которой я знала через людей их высочеств, с целью незаметно проникнуть в столь поздний час в покои великой княгини (было двенадцать часов ночи). По счастливой случайности, первая камеристка ее высочества, Екатерина Ивановна, попала мне навстречу в сенях и таким образом избавила меня от возможных неприятностей, так как я вовсе не знала внутреннего расположения дворца и могла легко попасть в комнаты лакеев Петра III вместо апартаментов его супруги. Я назвала себя и сказала, что мне надо видеть великую княгиню.

— Она в постели, — ответила она.

— Все равно, — возразила я, — мне непременно надо с ней поговорить.

Я сумела внушить ей доверие, и она, впустив меня в приемную, пошла доложить обо мне ее высочеству.

Великая княгиня была крайне удивлена и не хотела верить словам Екатерины Ивановны, так как знала, что я больна, и не могла себе представить, чтоб я пришла пешком, в сильный мороз, и рискнула проникнуть во дворец, где все ходы и выходы были строго охраняемы.

— Впустите ее, ради бога, — воскликнула она.

Я вошла. Великая княгиня действительно была в постели; она посадила меня на кровать и отказалась меня слушать, пока я не согрею свои ноги.

Когда я немного пришла в себя и отогрелась, она меня спросила:

— Что привело вас в такой поздний час ко мне, дорогая княгиня, и заставило вас рисковать вашим здоровьем, столь драгоценным для меня и для вашего супруга?

— Ваше высочество, — ответила я, — я не могла дольше противиться потребности узнать, какими средствами можно рассеять грозные тучи, которые собираются над вашей головой. Ради бога, доверьтесь мне; я заслуживаю вашего доверия и надеюсь стать еще более достойной его. Скажите, какие у вас планы? Чем вы думаете обеспечить свою безопасность? Императрице остается всего несколько дней, может быть — несколько часов жизни; могу ли я быть вам полезной? Скажите мне, что мне делать.

Великая княгиня залилась слезами; она прижала мою руку к своему сердцу и сказала:

— Я не умею вам выразить, насколько я вам благодарна, моя дорогая княгиня. Поверьте мне, что я доверяю вам безгранично и говорю чистейшую правду; у меня нет никакого плана, я не могу ничего предпринять, и я хочу и должна мужественно вынести все, что меня ожидает; единственная моя надежда — на бога; предаю себя в его руки.

— В таком случае за вас должны действовать ваши друзья, — ответила я, — и я не останусь позади других в рвении и жертвах, которые я готова принести вам.

— Ради бога, княгиня, не подвергайте себя опасности из-за меня и не навлекайте на себя несчастий, о которых я буду вечно скорбеть. Да и что можно сделать?

— Пока я, конечно, ничего еще вам не могу сказать, но смею вас уверить, что я вас своими действиями не скомпрометирую, и если и пострадаю, то пострадаю одна, и вам никогда не придется вспоминать о моей преданности к вам в связи с личным горем или несчастьем.

Великая княгиня хотела со мной еще поговорить и предостеречь меня от моего рвения, энтузиазма и неосторожности, неразлучной с неопытностью моего семнадцатилетнего возраста; но я прервала ее и сказала, поцеловав ей руку:

— Я не могу дольше остаться с вами, не рискуя подвергнуть неприятностям нас обеих.

Она бросилась мне на шею, и мы несколько минут сидели, крепко обнявшись. Наконец я встала с ее постели и, оставив ее в сильном волнении, сама едва добрела до своей кареты.

Каково было удивление моего мужа, когда, вернувшись домой, он не застал своей больной жены. Однако ему пришлось беспокоиться недолго, так как я приехала тотчас же по его возвращении. Когда я ему рассказала, где я была, и сообщила свое твердое решение послужить моему отечеству и спасти великую княгиню, он меня вполне одобрил и похвалил выше всякой меры, хотя и беспокоился за влияние моей ночной прогулки на мое слабое здоровье. Мой муж задержался у моего отца и вознаграждал меня за мою усталость, тревогу и за опасность, которой я подвер-

гальса, передав мне часть своего разговора с ним, не оставившего во мне сомнения в том, что он если и не высказывал, то во всяком случае разделял опасения истинных патриотов насчет результатов воцарения нового государя по смерти Елизаветы.

25 декабря, в день Рождества Христова, мы имели несчастье потерять императрицу Елизавету. Я могу засвидетельствовать как очевидец, что гвардейские полки (из них Семеновский и Измайловский прошли мимо наших окон), идя во дворец присягать новому императору, были печальны, подавлены и не имели радостного вида (как то утверждают некоторые авторы мемуаров о России, записывавшие только то, что соответствовало их образу мыслей, хотя девять десятых жителей Петербурга могли бы засвидетельствовать совершенно противоположное). Солдаты говорили все вместе, но каким-то глухим голосом, порождавшим сдержанный и зловещий ропот, внушавший такое беспокойство и отчаяние, что я была бы рада убежать за сто верст от своего дома, чтобы его не слышать. Мой муж был в другом конце города, в Преображенском полку. Я еще не знала о смерти Елизаветы, но шествие двух вышеупомянутых полков возвестило мне о ее кончине. День Рождества Христова, считающийся у нас одним из самых больших праздников, торжественно чтимых народом, казался мрачным, траурным днем; все лица были печальны. Я была больна и не видела никого из своих. Государственный канцлер также лежал больной в постели; на третий день его неожиданно посетил император; он прислал и мне сказать, чтобы я приехала к нему вечером, но я отговорила нездоровьем; на следующий день повторилось то же самое; наконец на шестой день моя сестра написала мне, что государь недоволен тем, что я не приезжаю, и не верит моей болезни. Не желая вызывать неприят-

ного объяснения между императором и моим мужем, я после обеда поехала сначала к моему отцу и к дяде, а затем отправилась во дворец; императрицу мне не удалось увидеть, так как она выходила из своей комнаты, только чтобы поклониться телу своей тетки и понаблести за исполнением обычных в подобных случаях обрядов. Она все время плакала, и я имела сведения о ней только через ее лакея.

Когда я вошла в гостиную, Петр III сказал мне нечто, что относилось к моей сестре и было так нелепо, что мне не хочется и повторять его слова. Я притворилась, что не поняла их, и поспешила присоединиться к игре в кампи; она обходилась мне немного дорого, так как ставка была на десять империалов (сто рублей), причем всегда выигрывал император, так как он не брал фишек, и когда проигрывал, то вынимал из кармана империал, чтобы покрыть им пульку, но так как у него в кармане было, конечно, более десяти империалов, то он всегда в конце концов срывал пульку. Когда его величество предложил сыграть вторую пульку, я попросила его избавить меня от участия в ней; но государь настаивал, предлагая далее играть со мной пополам, но я, напустив на себя ребячески глупый вид, ответила, что недостаточно богата, чтобы позволить так обирать себя, и что, если бы его величество клал деньги на стол, как все мы, у нас была бы еще возможность выиграть, но так как он играл, держа деньги в кармане, и мы не могли угадать, сколько их у него, то он, конечно, будет неизменно выигрывать и пользоваться нашими ставками.

Сознаюсь, что это было несколько дерзко; но надо себе представить, какое отвращение мне внушала подобная низость со стороны государя; кроме того, мой муж не пользовался доходами со своих имений, унаследованных им от отца, и, повинувшись своей сыновней

почтительности и любви к матери, предоставлял их ей, несмотря на то что у него самого было много долгов, а сам довольствовался той небольшой сравнительно суммой, которую она присылала на наше содержание; меня пугала одна мысль увеличить денежные затруднения моего мужа, и это может служить оправданием моих смелых слов.

Государь не обиделся на меня и, по-прежнему принимая меня за упорного и, пожалуй, глупого ребенка (ему казалось, что он еще так недавно держал меня у купели), ответил мне какой-то плоской шуткой и разрешил не принимать участия в игре. Общество как в этот вечер, так и почти во все последующие состояло из двух братьев Нарышкиных²⁷ с супругами, Измайлова²⁸ с женой, графини Елизаветы²⁹, Мельгунова³⁰, Гудовича³¹, Унгерна³², адъютанта императора, графини Брюс и еще двух-трех лиц, которых я не помню. Все смотрели на меня с удивлением, и я слышала, как они говорили между собой: «Вот мужественная женщина!» (То же самое говорили по-немецки голштинские генералы в Ораниенбауме, думая, что я не понимаю их языка.) Остальное общество было в соседней комнате; проходя через нее, мне казалось, что я попала в маскарад. На всех были другие мундиры; даже старик князь Трубецкой³³ был затянут в мундире, в ботфортах со шпорами. Этот старый царедворец, никогда не бывший военным, захотел им сделаться в семьдесят лет. До самой смерти императрицы он лежал с распухшими до невероятных размеров ногами, а в день ее кончины побежал отдавать приказания офицерам Измайловского полка, куда он незадолго перед этим был назначен подполковником. Гвардейские полки играли значительную роль при дворе, так как составляли как бы часть дворцового штата. Они не ходили на войну; князь Трубецкой, занимая одно

время и гражданскую должность, не исполнял своих обязанностей командира. Меня даже уверяли, что он, подобно нищим, знал средство, вызывающее опухоль на любой части тела.

Все придворные и знатные городские дамы, соответственно чинам своих мужей, должны были поочередно дежурить в той комнате, где стоял катафалк; согласно нашим обрядам, в продолжение шести недель священники читали Евангелие^{*}; комната была вся обтянута черной материей, кругом катафалка светилось множество свечей, что в связи с чтением Евангелия придавало ей особенно мрачный, величественный и торжественный вид. Императрица приходила почти каждый день и орошала слезами драгоценные останки своей тетки и благодетельницы. Ее горе привлекало к ней всех присутствующих. Петр III являлся крайне редко, и то только для того, чтобы шутить с дежурными дамами, подымать на смех духовных лиц и придираться к офицерам и унтер-офицерам по поводу их пряжек, галстуков или мундиров.

Наибольшим расположением императора, после прусского министра, пользовался английский, Кейт. Этот почтенный старец любил меня, как родную дочь. Мы с мужем и княгиня Голицына (о которой я упоминала выше) обедали у него каждую неделю; его звали Романом, как и моего отца, вследствие чего он в шутку называл меня своей дочерью, когда не было посторонних. Он часто говорил в интимном кругу, что император точно намеренно старается навлечь на себя всеобщее неудовольствие, а может быть, и презрение. Он бывал очень неучтив с остальными иностранными министрами, которым, конечно, не могло нравиться его обращение с ними.

^{*} Евангелие читается у гроба коронованных особ и епископов; по смерти частных лиц читают псалмы.

Однажды император послал сказать моему дяде канцлеру, что будет ужинать у него. В тот день дядя был болен и, конечно, не особенно радовался предстоящему ужину. Он послал за моей сестрой, графиней Бутурлиной, и за моим мужем и мной. Император приехал в семь часов и до ужина сидел в комнате больного; он разрешил дяде не присутствовать на нем. Графиня Строганова, графиня Бутурлина и я, пользуясь отсутствием дяди, не сели за стол и под тем предлогом, что хотели угощать гостей, ходили кругом стола. Это даже пришлось по вкусу императору, ненавидевшему всякий этикет и церемонии. Я стояла за его стулом в то время, как он рассказывал австрийскому послу, графу Мерси, и прусскому министру, как в бытность его в Киле, в Голштинии, еще при жизни своего отца, ему поручено было изгнать богемцев из города; он взял эскадрон карабинеров и роту пехоты и в один миг очистил от них город. Граф Мерси бледнел и краснел, не зная, подразумевает ли император под богемцами кочующих цыган или подданных его императрицы, королевы Венгрии и Богемии. Ему было тем более неловко, что он знал, что уже отправлен был приказ об отделении нашей армии от австрийской. Не надо забывать, что в обращении с императором я всегда принимала тон балованного, упрямого ребенка и называла его «папой». Я наклонилась над ним и сказала ему тихо по-русски, что ему не следует рассказывать подобные вещи иностранным министрам и что если в Киле и были нищие цыгане, то их выгнала, вероятно, полиция, а не он, который к тому же был в то время совсем ребенком.

— Вы маленькая дурочка, — ответил он, — и всегда со мной спорите.

Он успел уже выпить много вина, и я была убеждена, что он забудет на следующий день наш разго-

вор. Я отошла от его стула как ни в чем не бывало. Однажды, когда я была у государя, он, к величайшему удивлению всех присутствовавших, по поводу разговора о прусском короле начал рассказывать Волкову (в предыдущее царствование он был первым и единственным секретарем Конференции), как они много раз смеялись над секретными решениями и предписаниями, посылаемыми Конференциею в армии; эти бумаги не имели последствий, так как они предварительно сообщали о них королю. Волков бледнел и краснел, а Петр III, не замечая этого, продолжал хвастаться услугами, оказанными им прусскому королю на основании сообщенных ему Волковым решений и намерений совета.

Император приходил в придворную церковь лишь к концу обедни; он гримасничал и кривлялся, передразнивая старых дам, которым он приказал делать реверансы на французский лад вместо русского наклона головы. Бедные старушки едва удерживались на ногах, когда им приходилось сгибать колени, и я помню, как графиня Бутурлина, свекровь моей старшей сестры, чуть не упала, приседая перед государем; к счастью, ее успели поддержать.

Петр III был совершенно равнодушен к великому князю Павлу и никогда его не видал; зато маленький князь каждый день видался с матерью. Воспитателем его был старший из братьев Паниных³⁴, отозванный покойной императрицей, возложившей на него эти обязанности. Когда в Петербург приехал герцог Георгий голштейн-готторпский, родной дядя императора и императрицы (он был брат матери государыни — принцессы Ангальт-Цербстской), Панин, через посредство Сальдерна, состоявшего при особе принца Георгия (впоследствии он играл большую роль и был русским послом при польском дворе), попросил прин-

ца голштейн-готторпского и другого принца голштинского (более отдаленного родственника их величеств) предложить государю присутствовать при экзамене великого князя. Император склонился только на их усиленные просьбы, ссылаясь на то, что он ничего не поймет в экзамене. По окончании испытания император громко сказал своим дядям: «Кажется, этот мальчуган знает больше нас с вами».

Он хотел наградить его чином гвардейского унтер-офицера, и Панин с трудом уговорил его не приводить своего намерения в исполнение под предлогом, что подобная честь разовьет тщеславие в великом князе и он, вообразив себя взрослым, не станет заниматься. Петр III совершенно согласился с этими доводами, не подозревая того, что Панин смеется над ним в душе. Он вообразил также, что вознаградит самого Панина наилучшим образом, если возведет его в чин генерал-аншефа, что и было объявлено Панину Мельгуновым на следующий день. Чтобы понять, насколько это было неприятно для Панина, надо знать, что ему было сорок восемь лет, он был слаб здоровьем, любил покой, всю свою жизнь провел при дворе или в должности министра при иностранных дворах, носил парик *à trois marteaux*^{*}, очень изысканно одевался, был вообще типичным царедворцем, несколько старомодным и напоминавшим собой придворных Людовика XIV³⁵, ненавидел солдатчину и все, что отзывалось кордегардией. Он объявил Мельгунову, что ему решительно не верится, чтобы император удостоил именно его подобной милости, и что, если ему нельзя будет уклониться от своей новой карьеры, он скорее решится дезертировать в Швецию. Императору казалось столь

^{*} Парик, который имел длинный локон между двумя бантами (франц.).

непонятным, чтобы кто-нибудь мог отказаться от генеральского чина, что он сказал:

— Мне все твердили, что Панин умный человек. Могу ли я теперь этому верить?

Его величество принужден был дать ему соответствующий гражданский чин.

Пора мне упомянуть о родственных узак, которыми были связаны Панины с моим мужем. Младший брат Панин³⁶ был генералом в армии, находившейся в Пруссии. Оба они были двоюродными братьями моей свекрови; их матери, рожденные Еверлаковы, вышли замуж за Леонтьева и Панина; следовательно, сыновья последней приходились дядями моему мужу. Старший из них отправлен был чрезвычайным послом, еще когда я была в колыбели; я познакомилась с ними в сентябре месяце по возвращении нашем из Ораниенбаума и видалась с ними очень редко до той минуты, как в царствование Петра III заговор стал принимать более определенную форму. Он очень любил моего мужа и сохранил благодарное воспоминание о добром отношении к ним моего отца в его молодые годы. Однако, несмотря на наши столь естественные родственные отношения и мою страсть к мужу, после переворота, когда я стала предметом всеобщей зависти, клевета называла этого почтенного дядю то моим любовником, то моим отцом, так как он якобы был любовником моей матери. Он оказал серьезные услуги моему мужу и был благодетелем моих детей; не будь этого, я бы ненавидела Панина, потому что из-за него пятнали мою репутацию. Должна сознаться, что я больше уважала младшего брата, генерала, за его солдатскую простосердечность, откровенность и твердость характера, гораздо более подходившего к моему характеру, и при жизни его первой жены, которую я любила и уважала от всего сердца, я бывала чаще в обществе генерала Панина, чем его брата.